



СИЛЬНЕЙШАЯ СКЛОННОСТЬ

Эдит Уортон

Эдит Уортон

Сильнейшая склонность

<https://litres.ru/74384937>

SelfPub; 2026

Аннотация

Дебютный сборник из восьми Эдит Уортон об обманчивых иллюзиях, цене компромиссов и невидимых оковах светских приличий в Америке и Европе конца XIX века.

Содержание

Трагедия музыки	4
I	4
II	13
III	17
Поездка	29
Пеликан	46
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Эдит Уортон

Сильнейшая склонность

Трагедия музыки

I

Впоследствии Дэньюерсу нравилось воображать, будто он сразу узнал миссис Энтертон; но это, конечно, было сущей нелепостью: он никогда не видел ее портрета — она хранила строгую анонимность и отказывала в своей фотографии даже самым близким друзьям, — а от миссис Меморолл, с которой он искал дружбы из глубокого почтения к ее приятельнице, ему удалось вытянуть лишь одно импрессионистское замечание: «О, она похожа на старинную гравюру, где линии заменяют цвет».

Во всяком случае, он был почти уверен, что думал о миссис Энтертон, когда сидел за завтраком в пустом ресторане отеля, и что при появлении дамы, севшей за столик у окна, он поднял глаза и сказал себе: «Возможно, это она».

Еще со студенческих лет в Гарварде — а он был достаточно молод, чтобы они казались ему бесконечно далекими, — Дэньюерс грезил о миссис Энтертон, той самой Сильвии из

бессмертного цикла сонетов Винсента Рендла, миссис Э. из «Жизни и писем». Ее имя было запечатлено в лучших образцах английской поэзии XIX века — да и вообще всех веков, как все еще полагал Дэньерс с высоты своего более зрелого суждения. Первое чтение некоторых стихов — «Антиноя», «Пии де Толомеи», «Сонетов к Сильвии» — стало вехами в его духовном становлении; и казалось, что эти строки лишь прибавляли в глубине, благородстве и скрытом смысле по мере того, как читатель обогащал их толкование собственным жизненным опытом и более чутким душевным строем. Если в юности он воспринимал лишь совершенную, почти строгую красоту формы, тонкую перекличку гласных, напор и полноту лирического чувства, то теперь трепетал перед емкостью каждой строки, намеками каждого слова; его воображение неустанно бродило по новым тропам мысли, ведомое предчувствием того, что за уже открытым таятся еще более дивные дали. В колледже Дэньерс получил премию за эссе о поэзии Рендла (как раз в год кончины великого поэта); первые свои стихи поры «бури и натиска» он слагал по тем размерам, что ввел в английское стихосложение Рендл; а когда два года спустя вышли «Жизнь и письма» и Сильвия из сонетов обрела плоть в образе миссис Э., он перенес свое преклонение перед Рендлом и на женщину, вдохновившую не только эти божественные стихи, но и такую игривую, нежную, ни с чем не сравнимую прозу.

Дэньерс так и не забыл тот день, когда миссис Меморолл

ненароком обмолвилась, что знакома с миссис Энертон. Он знал миссис Меморолл около года и несколько свысока причислял ее к тем дамам, что устраивают дешевые паломничества к знаменитостям; и вот однажды днем, опуская второй кусочек сахара ему в чай, она заметила:

— На этот раз все правильно? Вы почти столь же придирчивы, как Мэри Энертон.

— Мэри Энертон?

— Да, вечно не могу запомнить, как она пьет чай. То ли с лимоном и сахаром, то ли с лимоном без сахара, то ли со сливками без того и другого; причем все это надо положить в чашку до того, как нальешь чай, а если ошиблась — начинай сначала. Полагаю, так пил чай Винсент Рендл, и для нее это стало священным ритуалом.

— Вы знакомы с миссис Энертон? — воскликнул Дэньерс, возмущенный столь легкомысленной фамильярностью по отношению к привычкам его божества.

— «Неужто наяву я Шелли зрел?» Помилуйте, конечно! Мы вместе учились — она ведь американка, вы знаете. Почти год прожили в одном пансионе близ Тура; потом она вернулась в Нью-Йорк, и я не видела ее до самого ее замужества. Они с Энертоном провели зиму в Риме, когда мой муж служил при нашем посольстве, и она часто бывала у нас. — Миссис Меморолл мечтательно улыбнулась. — Это была *та самая* зима.

— Зима, когда они встретились?

— Именно. Но, к несчастью, я уехала из Рима как раз перед их знакомством. Досадно, правда? Я вполне могла бы попасть в «Жизнь и письма». Вы помните, он упоминает эту глупую мадам Водки, в чьем доме впервые увидел ее.

— И вы часто виделись после этого?

— При жизни Рендла — нет. Знаете, она почти все время жила в Европе, и хотя я время от времени навещала ее, когда бывала за границей, она казалась настолько погруженной в себя, столь занятой, что чувствуешь себя лишней. По правде говоря, ее интересовали только его друзья — от своих прежних знакомых она постепенно отдалилась. Теперь, конечно, все иначе: она отчаянно одинока, стала изредка мне писать, а в прошлом году, узнав, что я еду в Европу, позвала меня встретиться в Венеции, и я провела с ней неделю.

— А Рендл?

Миссис Меморолл покачала головой с улыбкой:

— О, мне ни разу не позволили даже взглянуть на него; никто из ее старых друзей с ним не встречался, разве что случайно. Злые языки болтают, будто потому-то она так долго его и удерживала. Если кто-то заходил, когда он был там, его тут же уводили в кабинет Энертона, и муж стоял на страже, пока незваный гость не уйдет. Энертон, знаете ли,ставлял себя куда более смешным, чем его жена. Мэри была слишком умна, чтобы терять голову — или, по крайней мере, показывать это, — но Энертон не мог скрыть гордости от такой победы. Я видела, как Мэри вздрагивала, когда он

называл Рендла «наш поэт». За обеденным столом Рендлу всегда отводилось особое место, подальше от сквозняка и не слишком близко к огню; у него была собственная шкатулка с сигарами, к которой никому не позволялось прикасаться, и отдельный письменный стол в гостиной Мэри. А Энертон вечно рассказывал о чудачествах великого человека: о том, как тот ни за что не соглашался обрезать кончики сигар, хоть сам Энертон подарил ему золотую гильотинку со звездчатым сапфиром; о том, какой кавардак царил на его столе и как горничной было строго-настрого велено приносить корзину для бумаг хозяйке, прежде чем выбросить мусор, — вдруг туда случайно попали бессмертные стихи!

— Но супруги Энертон так и не разошлись?

— Разошлись? Боже упаси! Он бы ни за что не оставил Рендла! Да и жену он очень любил.

— А она?

— О, она понимала, что ему суждено выглядеть нелепо, и не мешала его естественным наклонностям.

От миссис Меморолл Дэньерс также узнал, что миссис Энертон, чей муж умер за несколько лет до поэта, теперь делила свое время между Римом, где у нее была небольшая квартира, и Англией, куда она изредка наезжала погостить у тех друзей, что остались от Рендла. Какое-то время после его смерти она готовила к публикации юношеские сочинения, завещанные ее попечению; однако, закончив эту работу, осталась без определенного занятия, и во время последней

встречи миссис Меморолл нашла ее вялой и подавленной.

— Она слишком тоскует по нему — ее жизнь опустела. Я так ей и сказала: ей нужно выйти замуж.

— О!

— А почему бы и нет? Она еще молодая женщина — во всяком случае, многие назвали бы ее молодой, — вставила миссис Меморолл, бросив попутный взгляд в зеркало. — Почему не смириться с неизбежным и не начать все сначала? Ни вся королевская конница, ни вся королевская рать не вернут Рендла к жизни — к тому же она и за него не пошла, когда была такая возможность.

Дэньерс поморщился от столь грубого прикосновения к своему кумиру. Неужели миссис Меморолл не понимала, каким жалким фарсом стал бы подобный брак? Представить только, что Рендл «возвращает честное имя» Сильвии — ведь именно так посмотрел бы на это свет! Как опошлено бы их прошлое подобное искупление греха — все равно что подвергнуть грубой «реставрации» шедевр! И сколь тонким должно было быть душевное устройство женщины, которая, вопреки пересудам и, возможно, собственному тайному влечению, предпочла остаться в веках Сильвией, а не миссис Винсент Рендл!

С того дня миссис Меморолл приобрела в глазах Дэньерса особую ценность. Она напоминала том пространных мемуаров без оглавления, сквозь который он терпеливо продирался в надежде отыскать среди вороха пыльной болтов-

ни драгоценное упоминание о предмете своих дум. Когда несколько месяцев спустя он выпустил свою первую тоненькую книжку, куда наряду с десятком несколько вымученных критических очерков вошла и переработанная студенческая статья о Рендле, он преподнес экземпляр миссис Меморолл, а та при следующей встрече ошеломила его известием, что отослала книгу миссис Энертон.

Миссис Энертон вскоре прислала вежливую благодарность. Дэньерсу выпала честь прочесть эти несколько строк, в которых — сухим тоном, выдававшим привычку отвечать на подобные излияния, — она отметила «чуткость и проницательность» автора, написав, как она «рада возможности» и тому подобное. Он ушел разочарованным, сам толком не зная, чего еще ожидал.

Следующей весной, собираясь в Европу, он получил от миссис Меморолл рекомендации буквально ко всем — от архиепископа Кентерберийского до Луизы Мишель. Однако рекомендательного письма к миссис Энертон среди них не оказалось: из прежних разговоров Дэньерс знал, что Сильвия не выносит людей «с письмами». Знал он и то, что летом она путешествует и вряд ли вернется в Рим до конца его отпуска, так что на встречу с нею он даже не рассчитывал.

И вот дама, чье появление нарушило его уединенную трапезу в ресторане отеля «Вилла д'Эсте», села так, что ее профиль четко вырисовывался на фоне окна; выпуклый лоб, тонкий с горбинкой нос и строгие, капризные губы напоми-

нали силуэт Марии-Антуанетты. В ее одежде и движениях — в самом повороте запястья, когда она наливала себе кофе, — Дэньерс угадал ту же взыскательность, то же невольное отторжение всего пошлого и заурядного. Перед ним была женщина, знавшая и безмерную скуку, и глубочайший интерес к жизни. Официант подал ей газету «Il Secolo»; склонившись над ней, она показала тронутые сединой волосы, зачесанные со лба назад, но стан ее был прям и строен, сохраняя бесценное девичье изящество.

Поток англосаксонских путешественников еще не хлынул к озерам, и, если не считать пары итальянских семейств да горбатого юноши с аббатом, мраморные залы Виллы д'Эсте были предоставлены в полное распоряжение Дэньерса и этой дамы.

Вернувшись с утренней прогулки по холмам, он увидел ее за столиком у самой кромки озера. Она писала; рядом лежала стопка книг и газет. Вечером они снова встретились в саду. Он вышел выкурить сигарету перед обедом и под темными сводами каменных дубов, возле ступеней к лодочной пристани, застал ее облокотившейся на парапет над водой. Услышав шаги, она обернулась. На голову ее был наброшен черный кружевной шарф, и в этом строгом обрамлении лицо казалось тонким и несчастным. Позже он вспомнил, что в ее глазах, встретившихся с его взглядом, читалась не столько печаль, сколько глубокая неудовлетворенность.

К его изумлению, она шагнула ему навстречу с останав-

ливающим жестом.

— Мистер Льюис Дэньерс, если не ошибаюсь?

Он поклонился.

— Я миссис Энертон. Я увидела ваше имя в списке постояльцев и хотела поблагодарить вас за статью о поэзии мистера Рендла — вернее, сказать, как высоко я ее оценила. Прошлой зимой эту книгу мне прислала миссис Меморолл.

Она говорила ровным, меланхоличным тоном, словно привычка произносить дежурные фразы лишила ее голос живых интонаций, но улыбка ее была очаровательна. Они присели на каменную скамью под дубами, и она призналась, какое удовольствие доставил ей его очерк. Она нашла его лучшим во всей книге и была уверена, что в него он вложил куда больше души, чем в остальные; разве она ошиблась, предположив, что поэзия мистера Рендла оказала на него глубочайшее влияние? *Pour comprendre il faut aimer* — чтобы понять, нужно любить, — и ей показалось, что в некоторых отношениях он проник в сокровенный замысел поэта глубже всех прочих критиков. Разумеется, некоторых вопросов он не коснулся; какие-то грани этого многогранного ума, возможно, ускользнули от него...

— Но вы ведь еще так молоды, — мягко заключила она, — и нельзя требовать от вас того жизненного опыта, без которого невозможно полное понимание.

II

Она провела на Вилле д'Эсте целый месяц, и Дэньерс виделся с ней каждый день. Она выказывала неподдельное удовольствие от его общества — удовольствие, столь явно основанное на их общем преклонении перед Рендлом, что молодой человек мог наслаждаться им, не опасаясь впасть в самообольщение. Поначалу он был лишь еще одной крупницей ладана на алтаре ее ненасытного божества; но постепенно в их общение проникла более личная нота. Пусть она по-прежнему благоволила к нему лишь потому, что он ценил Рендла, она все же заметно выделяла его из толпы почитателей.

Ее отношение к памяти великого человека казалось Дэньерсу безупречным. Она не выставляла напоказ свою роль, но и не отрекалась от нее. Для тех, кто знал и понимал, она открыто оставалась Сильвией, но в ее поведении не было и тени позы Эгерии. Она часто говорила о книгах Рендла, но редко — о нем самом; в ее неисчерпаемых воспоминаниях не слышалось ни посмертной супружеской ревности, ни собственнических интонаций. Об интеллектуальной жизни мэтра, о его привычках мыслить и работать она готова была рассуждать бесконечно. Ей была ведома история каждого стихотворения: какой пейзаж или случай вызвал к жизни тот или иной образ, сколько раз переставлялись слова в строке, как долго поэт искал нужный эпитет и что наконец навело

его на след; она могла растолковать даже ту темную строчку, что служила мукой для критиков и радостью для недоброжелателей — последнюю строку «Старого Одиссея».

Дэньерс чувствовал, что в этих беседах она не просто повторяет чужие мысли. Если ее личность и казалась слитой с личностью Рендла, то лишь потому, что мыслили они одинаково, а не потому, что он думал за нее. Потомки склонны видеть в женщинах, воспетых поэтами, лишь случайные колышки, на которые те развешивали свои венки; но ум миссис Энертон был подобен благодатной почве, где воображение Рендла неизбежно пускало корни и расцветало. Дэньерс начал понимать, сколь многими нитями своей сложной духовной ткани поэт был обязан гармоничному слиянию ее натуры с его собственной; в некотором смысле Сильвия сама создала «Сонеты к Сильвии».

Быть хранителем внутреннего мира Рендла, ключом к святилищу, поначалу казалось Дэньерсу настолько всеобъемлющей привилегией, что по мере сближения с миссис Энертон он ощущал себя вторгшимся в жизнь, и без того переполненную до краев. Какое место могло найтись среди столь величественных воспоминаний для такой скромной фигуры, как он сам? И вдруг он понял, что миссис Меморолл была права: его счастливая приятельница не просто тосковала — она мучилась от скуки.

— Вам досталось больше, чем любой другой женщине! — воскликнул он однажды, и ее улыбка язвительно озарила его

оплошность.

Глупец, как он не заметил, что ей досталось *мало*! Что она еще молода — разве годы имеют значение? — нежна, человечна, что она женщина; а живым нужны живые.

После этого, поднимаясь по аллеям террасного парка, отдыхая в полуразрушенных беседках-ротондах или наблюдая сквозь трепет листвы за далеким синим блеском озера, они уже не всегда толковали о Рендле или литературе. Она побуждала Дэньюерса говорить о себе, доверять ей свои стремления; она задавала вопросы — то испытанное средство, которым мудрая женщина заменяет советы.

— Вы должны писать, — произнесла она, расточая самую изысканную лесть, какую только могут изречь человеческие уста.

Разумеется, он намеревался писать — почему бы и ему не создать нечто великое? По меньшей мере, сделать все, на что он способен, с твердым решением с самого начала: его лучшее должно стать *лучшим вообще*. Ничто меньшее не казалось возможным, когда в ушах звучало ее напутствие. Как тонко она разгадала его, как возвысила и распутала его смутные амбиции, коснувшись его духа пробуждающим творческим словом: «Да будет свет!»

Шел последний день их совместного пребывания, и он чувствовал себя одновременно безнадежно потерянным и счастливым.

— Вам непременно нужно написать о нем книгу, — мягко

продолжала она.

Дэньерс вздрогнул: его начинала раздражать привычка Рендла являться без стука.

— Вы просто обязаны это сделать, — настаивала она. — Полное, всестороннее исследование: его стиль, его замысел, его философия жизни и искусства. Никто другой не сделает этого лучше.

Он растерянно смотрел на нее. Внезапно — посмел ли он догадаться?

— Без вас я не смогу, — пролепетал он.

— Я помогу вам... Конечно, я буду вам помогать.

Они сидели молча, глядя на гладь озера.

Расставаясь, они условились, что через шесть недель он придет к ней в Венецию. Там они и обсудят будущую книгу.

III

Озеро Изео, 14 августа.

Прощаясь с вами вчера, я обещала вернуться в Венецию через неделю — и дать вам ответ. Я была неискренна: я вовсе не собиралась возвращаться в Венецию и не хотела больше видеть вас. Я бежала от вас — и намерена бежать дальше! Если на это не способны вы, это должна сделать я. Кто-то ведь должен спасти вас от брака с разочарованной женщиной... ну, вы говорите, что годы не в счет, да и к чему их считать, раз вы все равно на мне не женитесь?

Вот что я не посмела сказать вам в лицо при встрече. *Вы не должны жениться на мне.* Мы провели в Венеции целый месяц (какой это был прекрасный месяц, не правда ли?), и теперь вы должны вернуться домой и написать книгу — любую книгу, только не ту, о которой мы с вами так и не заговорили! — а я останусь здесь, позируя среди своих воспоминаний, точно некий женский извод Титона. Какая невыносимая тоска в этом вынужденном бессмертии!

Но вы должны узнать правду. Вы мне дороги — или, по крайней мере, мне так дорога ваша любовь, — что я обязана открыть ее вам.

Вы полагали, будто для вас нет надежды лишь потому, что меня любил Винсент Рендл. Что я сполна получила все, чего желала, — разве не так вы говорили? Как только муж-

чина начинает думать, будто понимает женщину, он может быть уверен, что не понимает ничего! Для вас нет надежды именно потому, что Винсент Рендл *никогда меня не любил*. Я так и не получила того, чего жаждала, и никогда, никогда, никогда не унижусь до того, чтобы довольствоваться чем-то меньшим.

Начинаете ли вы понимать? «Так все это было обманом?» — спросите вы. Нет, все было настоящим, но лишь до известного предела. Вы молоды — вы еще не научились различать те тысячи неуловимых знаков, по которым пробираешься сквозь лабиринт человеческой природы; но разве вам ни разу не показалось странным, что я никогда не рассказывала вам о нем забавных мелочей? О его привычке, например, вертеть нож для бумаги между пальцами во время разговора; о его страсти собирать чистые оборотные стороны писем; о его слабости к землянике, мелкой и терпкой альпийской землянике; о его детском восторге перед акробатами и жонглерами; о том, как он неизменно обращался ко мне «вы — дорогая вы» в начале каждого письма... Я ведь не обмолвилась об этом ни единым словом, верно? Неужели вы думаете, что я удержалась бы, если бы он любил меня? Тогда эти милые пустяки принадлежали бы мне, были бы частью моей жизни — *нашей* жизни, — они вырывались бы помимо воли (ведь только несчастная женщина всегда сдержанна и полна достоинства). Но никакой «нашей жизни» никогда не существовало; до самого конца это были лишь «наши жизни»...

Если бы вы знали, какое это облегчение — открыть наконец кому-то правду! Вы проявите терпение, вы позволите мне причинить вам боль! Я уже никогда не буду так одинока, раз теперь хоть кто-то обо всем знает.

Позвольте мне начать с самого начала. Когда я впервые встретила Винсента Рендла, мне не исполнилось и двадцати пяти. Это было двадцать лет назад. С той поры и до самой его смерти, пять лет назад, мы были близкими друзьями. Он отдал мне пятнадцать лет — пожалуй, лучшие пятнадцать лет своей жизни. Свет, как вам известно, считает, что свои величайшие поэмы он создал именно в эти годы; принято думать, что я «вдохновляла» его, и в каком-то смысле так оно и было. С самого начала между нами возникло почти совершенное интеллектуальное согласие; мой ум казался ему (как мне представляется) превосходно настроенным инструментом, на котором он никогда не уставал играть. Кто-то передал мне его слова о том, что я «всегда все понимаю»; это единственная похвала, которую я когда-либо от него слышала. Я даже не знаю, находил ли он меня хорошенькой, хотя вряд ли моя внешность была ему неприятна, ведь он терпеть не мог уродливых людей. Как бы то ни было, он привык проводить со мной все больше времени. Ему нравился наш дом, наши порядки ему подходили. Он был нервным, раздражительным; люди утомляли его, и все же одиночества он не выносил. У нас он находил прибежище. Когда мы путешествовали, он ехал с нами; зимой снимал жилье по соседству с на-

ми в Риме. В Англии или на континенте он неизменно проводил с нами добрую часть года. В мелочах я могла быть ему полезной; он стал зависим от меня. В разлуке он писал мне беспрестанно — ему хотелось делиться со мной всем, что он делал и о чем думал; он сгорал от нетерпения узнать мое мнение о каждой новой прочитанной им книге; я была частью его духовной жизни. Беда заключалась в том, что мне хотелось быть чем-то большим. Я была молодой женщиной и любила его — не потому, что он был Винсентом Рендлом, а просто потому, что он был собой!

Пошли, разумеется, сплетни: я стала «миссис Энертон Винсента Рендла»; когда появились «Сонеты к Сильвии», все зашептались, что Сильвия — это я. Куда бы он ни шел, приглашали и меня; люди заискивали передо мной в надежде познакомиться с ним; в Лондоне дверной колокольчик не смолкал ни на минуту. Пожилые аристократки, тщеславные хозяйки салонов, влюбленные девицы и начинающие писатели осыпали меня знаками внимания. Я упивалась этим успехом, зная, что за ним стоит: все они верили, будто Рендл в меня влюблен! Знаете, порой они чуть ли не убеждали в этом и меня саму. О, каких только глупостей я себе не напридумывала! Вы не представляете, какие оправдания изобретает женщина для мужчины, который не говорит ей о любви, — жалкие доводы, несостоятельность которых она мгновенно раскусила бы, прибегни к ним любая другая! Но все это время в глубине души я знала: ему нет до меня дела. Я знала бы

это, даже признавайся он мне в любви каждый божий день. Я не могла понять, знает ли он, о чем судачат за нашей спиной: он так мало слушал чужие пересуды, а услышав, беспокоился еще меньше. Со мной он всегда был предельно чист и прям; он относился ко мне так, как мужчина относится к мужчине; и все же порой мне казалось, что он *должен* видеть: для меня все иначе. Если он и замечал, то не подавал виду. Возможно, он просто не обращал внимания — я уверена, он вовсе не желал быть жестоким. Он никогда не ухаживал за мной; его вины не было в том, что мне хотелось большего, чем он мог дать. «Сонеты к Сильвии», скажете вы? Но что они такое? Космическая философия, а не любовная лирика; гимн Женщине вообще, а не конкретной женщине!

Но как же письма? Ах, эти письма! Что ж, признаюсь начистоту. Вы замечали пропуски в письмах — как раз в тех местах, где тон, казалось бы, вот-вот станет теплее? Критики, как вы помните, расхваливали издателя за похвальную деликатность и тонкий вкус (столь редкие в наши дни!), проявившиеся в изъятии из переписки всех личных намеков, всех тех *détails intimes*, которые должно скрывать от досужих глаз публики. Они имели в виду, конечно же, звездочки в письмах к миссис Э. Эти письма готовила к печати я сама: то есть я переписывала их для издателя и время от времени вставляла строчку звездочек, чтобы создать видимость купюр. Понимаете? Звездочки были обманом — *вырезать было нечего*.

Только женщина способна понять, через что мне пришлось пройти за те годы: приступы бунта, когда мне казалось, что я должна порвать со всем этим, бросить ему правду в лицо и больше никогда его не видеть; неизбежный откат назад, когда мысль о невозможности видеть его казалась единственной невыносимой вещью на свете, и я замирала от страха, как бы неосторожный взгляд или слово не нарушили хрупкое равновесие нашей дружбы; глупые дни, когда я тешила себя иллюзией, будто он *должен* меня любить, раз все вокруг так считают; долгие периоды оцепенения, когда мне было уже все равно, любит он меня или нет. А меж этих мучительных дней выпадали другие, когда наше интеллектуальное единение было столь полным, что я забывала обо всем на свете, упиваясь упоением полета на крыльях его мысли. В такие мгновения казалось, будто разверзлись небеса...

И все это время он был таким верным другом! Он обладал гением дружбы и без остатка расточал его мне. Да, вы были правы, сказав, что мне досталось больше, чем любой другой женщине. *Il faut de l'adresse pour aimer*, — писал Паскаль; а я вела себя с ним столь тихо, весело, с такой открытой нежностью, что за все эти годы, кажется, ни разу ему не наскучила. Могла ли я надеяться на это, будь он влюблен в меня?

Не думайте, однако, будто он держался за мою юбку. Он приходил и уходил, когда вздумается, и столь же вольны бы-

ли его увлечения. Была однажды девица (я рассказываю вам все без утайки), прелестное создание, находившее его стихии «глубокими» и подарившее ему на день рождения «Лю-силь». Одно лето он следовал за ней в Швейцарию и, пока увивался вокруг нее (слишком демонстративно, как мне всегда казалось, для Великого Человека), писал *мне* о своей теории сочетания гласных — или то были опыты с английским гекзаметром? Письма приходили из тех самых мест, где, как я знала, они вместе сидели у водопадов, и он придумывал эпитеты для ее волос. Позже он говорил мне об этом совершенно откровенно. Она была ослепительно хороша собой, и любоваться ею доставляло чистейшую радость; но она *желала* говорить, а ум ее, по его выражению, «сплошь состоял из острых углов». И все же в следующем году, когда объявили о ее свадьбе, он внезапно уехал в одиночестве... и как раз после этого опубликовал «Напутствие любви». Странные существа — мужчины!

После смерти мужа — я излагаю вещи без прикрас, как видите, — ко мне вновь вернулась надежда. Я убеждала себя, будто он молчал лишь из любви ко мне, надеясь однажды сделать меня своей женой и желая оградить от пересудов. Вздор! В глубине души я отлично понимала: мой единственный шанс — сила привычки. Он привык ко мне, был уже не молод, страшился новых людей и незнакомой обстановки; *il avait pris son pli* — он заостенел в своих привычках. Разве не проще было бы жениться на мне?

Не думаю, чтобы эта мысль вообще приходила ему в голову. Он прислал мне то, что называют «прекрасным письмом»; он был добр, внимателен, проявил пристойное сочувствие; а спустя несколько недель вернулся к своему старому обыкновению заходить каждый день после полудня, и наши нескончаемые беседы возобновились с того самого места, на котором прервались. Позже до меня дошли слухи, будто люди восхищались моим «безупречным вкусом», из-за которого я не стала выходить за него замуж.

Так мы перебивались еще пять лет. Пожалуй, это были лучшие годы, ибо я перестала надеяться. А потом он умер.

После его кончины — поразительное дело — передо мной возник некий призрак любви. Во всех книгах и статьях о нем, во всех рецензиях на «Жизнь» содержались деликатные намеки на Сильвию. Я вновь сделалась той самой миссис Энертон былых славных дней. Сентиментальные барышни и славные юноши вроде вас заливались краской, когда кто-то шептал: «Вы сейчас говорили с Сильвией». Глупцы выпрашивали автографы, издатели осаждали просьбами написать воспоминания, критики советовались о разночтениях сомнительных строк. И я понимала, что для всех них я — женщина, которую любил Винсент Рендл.

Потом угасло и это пламя, и я осталась наедине со своим прошлым. Одна — совершенно одна; ведь на самом деле он никогда не был со мной. Духовный союз теперь ничего не значил. Это было соприкосновение душ, но никогда — спле-

тение рук, и у меня не осталось ни единой памятной мелочи, которая напоминала бы о нем.

И тогда настала полярная зима. Я забилась в себя, точно в снежную хижину. Я ненавидела свое одиночество и все же страшилась каждого, кто мог его нарушить. Это состояние, разумеется, прошло, как и остальные. Я вернулась к жизни, стала читать газеты и придирчиво выбирать фасоны платьев. Но один вопрос не давал мне покоя, преследуя день и ночь. Почему он никогда не любил меня? Почему я была для него столь многим — и ничем сверх того? Неужели я была так дурна собой, так безнадежно лишена женской притягательности, что мужчина, дороживший мной как товарищем по мысли, не мог полюбить меня как женщину? Не передать, как извел меня этот вопрос. Он превратился в наваждение.

Мой бедный друг, начинаете ли вы понимать? Мне необходимо было узнать, что подумает обо мне другой мужчина. Не судите меня слишком строго! Сначала послушайте, взвесьте все. Когда я встретила Винсента Рендла, я была молодой женщиной, рано вышедшей замуж и ведущей самую тихую жизнь; у меня не было никакого опыта. С первой минуты нашего знакомства и до дня его смерти я ни разу не взглянула на другого мужчину и не замечала, смотрит ли кто-нибудь на меня. Когда он умер пять лет назад, я разбиралась в силе своей женской власти не больше младенца. Неужели было слишком поздно выяснить это? Неужели мне так и не суждено было узнать, *почему*?

Простите меня... Простите. Вы так молоды; очень скоро все это станет для вас лишь мимолетным эпизодом, простым «жизненным материалом»! И к тому же все было далеко не так расчетливо и хладнокровно, как может показаться из этих путаных строк. Я не выстраивала плана, как книжная интриганка. Жизнь куда сложнее любых ее описаний. Вы понравились мне с самого начала — меня потянуло к вам (вы не могли этого не заметить), мне хотелось вам нравиться; это не было чистым психологическим опытом. И все же в некотором смысле это было и им — признаюсь честно. Мне нужен был ответ на тот мучительный вопрос; этого призрака необходимо было изгнать.

Поначалу я боялась — о, как же я боялась! — что я дорога вам лишь как Сильвия, что вы полюбили меня только потому, что меня, как вы думали, любил Рендл. Мне начало казаться, что от этой участи мне не уйти.

Как я была счастлива, когда обнаружила, что вы ревнуете меня к прошлому, что вы буквально ненавидите Рендла! Мое сердце забилося по-девичьи, когда вы сказали, что поедете за мной в Венецию.

После нашего расставания на Вилле д'Эсте прежние сомнения нахлынули с новой силой. Что я знала о ваших чувствах? Способны ли вы были разобраться в них сами? Не состояли ли они на две трети из тщеславия и любопытства, а на одну треть — из литературной сентиментальности? Вы вполне могли вообразить, будто любите Мэри Энертон, будучи на

самом деле влюблены в Сильвию — сердце такое лицемерное создание! Или вы могли оказаться более расчетливым, чем мне представлялось. Возможно, это вы тешили *мое* тщеславие в надежде (вполне простительной!) через пристойный срок превратить меня в изящное эссе с широкими полями.

Когда вы приехали в Венецию и мы встретились — помните ли вы музыку на лагуне в тот вечер, доносившуюся к моему балкону? — я так боялась, что вы заговорите о книге; ведь книга служила вашим благовидным предлогом для приезда. Вы ни разу о ней не обмолвились, и я вскоре поняла: единственное, чего вы страшились, — это что *я* заговорю о ней, напому вам о цели вашего визита. И тогда я поняла, что дорога вам! Да, в тот миг по-настоящему дорога! Мы ведь ни единого раза не вспомнили о книге за весь этот месяц в Венеции, правда?

Я перечитала свое письмо — и теперь жалею, что не сказала все это лично. Тогда я могла бы нащупывать дорогу, глядя на ваше лицо и проверяя, понимаете ли вы меня. Но нет: я не могла вернуться в Венецию; и я не могла сказать вам это (хоть и пыталась), пока мы были вместе. Я не могла испортить тот месяц — мой единственный месяц. Было так отратно хоть раз в жизни отдохнуть от литературы...

Сначала вы рассердитесь на меня — но, увы, ненадолго. То, что я совершила, было бы жестокостью, будь я моложе; теперь же этот опыт ранит лишь меня одну. И ранит невыносимо больно (быть может, столь же больно, как вы в первом

гневе пожелали бы мне), потому что он впервые открыл мне все то, чего я была лишена...

Поездка

Лежа на своей полке и глядя на тени под потолком, она чувствовала, как стук колес отдается в мозгу, загоняя ее все глубже в круги мучительной бессонной ясности. Спальный вагон погрузился в ночную тишину. Сквозь мокрое оконное стекло мелькали внезапные огни и длинные полосы несущейся тьмы. Время от времени она поворачивала голову и сквозь просвет в занавесках смотрела на шторы своего мужа через проход...

Она с тревогой думала, не нужно ли ему чего-нибудь и услышит ли она, если он позовет. За последние месяцы его голос совсем ослаб, и он сердился, когда она не слышала. Эта раздражительность, эта растущая ребяческая капризность словно выражали их постепенное отдаление друг от друга. Подобно двум лицам, глядящим сквозь толщу стекла, они находились рядом, почти касаясь друг друга, но не могли ни слышать, ни чувствовать взаимного тепла: внутренняя связь между ними оборвалась. Она, по крайней мере, остро ощущала эту разделяющую стену, и порою ей казалось, что тот же холод сквозит во взгляде, которым он восполнял слабеющие слова. Вина, несомненно, лежала на ней. Она обладала слишком несокрушимым здоровьем, чтобы понять прихотливые тонкости болезни. В ее укоризненной нежности сквозило ощущение его неразумности; у нее было смутное

чувство, будто в его беспомощной тирании крылся какой-то умысел. Внезапность перемены застала ее врасплох. Еще год назад их сердца бились в одном полнокровном ритме, оба с одинаковой щедростью верили в неиссякаемое будущее. Теперь их силы больше не шли в ногу: ее энергия по-прежнему рвалась вперед, осваивая неизведанные просторы надежд и планов, тогда как его силы угасали, тщетно пытаясь угнаться за ней.

Выходя замуж, она надеялась наверстать столь многое: прежние ее дни были столь же унылы и пусты, как побеленный класс, где она вдальблывала сухие факты в головы упрямых школьников. Его появление нарушило дремотный застой обстоятельств, раздвинув горизонт настоящего до предела самых смелых надежд. Но постепенно этот горизонт сужался. Жизнь затаила на нее обиду: расправить крылья ей так и не было суждено.

Поначалу доктора говорили, что шесть недель мягкого климата поставят его на ноги; но когда он вернулся, выяснилось, что это предписание, разумеется, подразумевало и зиму в сухом краю. Они отказались от своего хорошенького домика, сдали на склад свадебные подарки и новую мебель и уехали в Колорадо. Она возненавидела эти места с первого же дня. Там ее никто не знал и никому не было до нее дела; некому было подивиться ее удачной партии или позавидовать новым нарядам и визитным карточкам, к которым она сама еще не успела привыкнуть. А ему становилось все

хуже. Она оказалась лицом к лицу с трудностями, слишком ускользающими, чтобы с ними можно было справиться при ее прямолинейном характере. Она по-прежнему любила его, конечно; но он постепенно, неуловимо переставал быть собой. Тот человек, за которого она выходила, был сильным, деятельным, мягко властным — из тех мужчин, чье призвание расчищать путь сквозь житейские преграды; теперь же защитницей стала она, а его приходилось оберегать от любых забот и вовремя поить каплями или мясным соком, даже если рушится небо. Рутинa ухода за больным сбивала ее с толку; эти пунктуальные приемы лекарств казались столь же бессмысленными, как непонятные религиозные обряды.

Бывали, правда, минуты, когда теплые приливы жалости смывали ее невольную досаду на его недуг, когда она вновь узнавала его прежнего по глазам, нащупывавшим ее взгляд сквозь плотную пелену немощи. Но такие мгновения случались все реже. Порой он пугал ее: осунувшееся, лишенное выражения лицо казалось чужим, голос звучал глухо и сипло, а улыбка тонких губ походила на простую судорогу. Рука ее невольно избегала его влажной, мягкой кожи, утратившей привычную шероховатость здоровья; она ловила себя на том, что украдкой разглядывает его, словно диковинного зверя. Страшно было сознавать, что это и есть ее любимый человек; бывали часы, когда признание ему во всех ее терзаниях казалось единственным спасением от ужаса. Но обычно она судила себя мягче, думая, что просто слишком долго остава-

лась с ним наедине и что дома, в окружении своей крепкой и жизнерадостной семьи, все будет иначе. Как она ликовала, когда доктора наконец разрешили ему вернуться домой! Она понимала, конечно, что означает этот вердикт; они оба понимали. Это означало, что он умирает; но они рядили правду в обнадеживающие эвфемизмы, и порой, в радостной суматохе сборов, она и впрямь забывала об истинной цели их пути, с жаром начиная строить планы на будущий год.

Наконец настал день отъезда. Она панически боялась, что они так и не уедут; что в последнюю минуту он подведет ее, что врачи припрятали какое-нибудь привычное коварство; но обошлось. Они доехали до вокзала, его усадили на место, укутали колени пледом, подложили под спину подушку, и она высунулась из окна, махая на прощание знакомым, которых на самом деле так и не полюбила.

Первые сутки прошли благополучно. Он немного оживился, с любопытством смотрел в окно и наблюдал за нравами вагона. На второй день он стал уставать и раздражаться от бесстрастного взгляда веснушчатой девочки с комочком жевательной резинки. Ей пришлось объяснить матери ребенка, что муж слишком болен и его нельзя тревожить; в ответ дама надулась от обиды, явно поддержанная материнским сочувствием всего вагона...

В ту ночь он спал плохо, а на следующее утро его температура испугала ее: она поняла, что ему хуже. День тянулся медленно, перемежаясь мелкими дорожными досадами.

Глядя на его осунувшееся лицо, она по вздрагиванию его черт угадывала каждый толчок и стук поезда, пока ее собственное тело не начинало вибрировать от сочувственной усталости. Ей казалось, что окружающие тоже не спускают с него глаз, и она беспокойно металась между ним и этой цепочкой вопрошающих взглядов. Веснушчатая девчонка кружила вокруг, точно муха; ни конфеты, ни книжки с картинками не могли прогнать ее: она закручивала одну ногу за другую и невозмутимо тарасилась на него. Проходивший мимо проводник задерживался с невнятными предложениями помощи — вероятно, по наущению сердобольных пассажиров, преисполненных чувства, что «надо же что-то предпринять»; а некий нервный господин в дорожной шапочке вслух выражал беспокойство за здоровье своей супруги.

Часы тянулись в томительном безделье. К сумеркам она присела рядом с ним, и он положил руку на ее ладонь. Это прикосновение заставило ее вздрогнуть. Казалось, он зовет ее откуда-то издалека. Она беспомощно посмотрела на него, и его улыбка пронзила ее острой, почти физической болью.

— Ты очень устал? — спросила она.

— Нет, не слишком.

— Скоро уже приедем.

— Да, очень скоро.

— Завтра в это время...

Он кивнул, и они замолчали. Уложив его и забравшись на свою полку, она пыталась ободрить себя мыслью, что меньше

чем через сутки они будут в Нью-Йорке. Родные встретят ее на вокзале — она представляла их круглые, беспечные лица, пробивающиеся сквозь толпу. Хоть бы они не стали слишком громко твердить ему, как прекрасно он выглядит и что скоро все пройдет: от долгого соприкосновения с чужой болью в ней развилась тонкая чуткость, и она начала замечать некоторую душевную грубоватость своей семьи.

Вдруг ей показалось, будто он позвал ее. Она раздвинула занавески и прислушалась. Нет, это всего лишь храпел мужчина в другом конце вагона. Храп звучал сально, будто просачивался сквозь топленый жир. Она легла и попыталась уснуть... Не пошевелился ли он? Она вздрогнула и приподнялась... Тишина пугала ее сильнее любого шума. Вдруг он не может дозваться — вдруг зовет ее прямо сейчас?.. Откуда берутся эти мысли? Обычная склонность переутомленного ума цепляться за худшие из возможных опасений... Высунув голову, она вслушивалась, но не могла отличить его дыхание от дыхания десятков других легких вокруг. Ей нестерпимо хотелось встать и взглянуть на него, но она знала, что этот порыв — лишь выход для ее взвинченных нервов, и страх потревожить его покой удерживал ее... Мерное колыхание его занавески успокаивало — сама не зная почему, она вспомнила, как он бодро пожелал ей спокойной ночи; и от невозможности терпеть страх ни секунды дольше она отогнала тревогу усилием всего своего здорового, уставшего тела. Она повернулась на бок и уснула.

Она скованно села на полке, глядя на занимающийся расцвет. Поезд мчался мимо голых холмов, жавшихся к безжизненному небу. Пейзаж походил на первый день творения. В вагоне было душно, и она приподняла окно, впуская резкий холодный ветер. Взглянула на часы: семь утра, скоро пассажиры начнут просыпаться. Она торопливо оделась, оправила растрепанные волосы и прошла в уборную. Умывшись и поправив платье, она почувствовала прилив бодрости. По утрам ей всегда стоило немалых усилий удерживать себя от хорошего настроения. Щеки сладко горели под грубым полотенцем, влажные пряди на висках завивались упругими колечками. Каждая клеточка ее тела дышала жизнью и упругой силой. А через десять часов они будут дома!

Она подошла к полке мужа: подошло время утреннего молока. Шторка на окне была опущена, и в полумраке за занавесками она смогла лишь разглядеть, что он лежит на боку, отвернувшись к стене. Она наклонилась и подняла шторку. При этом рука ее коснулась его кисти. Та была холодной...

Она склонилась ниже, положила руку ему на плечо и позвала по имени. Он не пошевелился. Она позвала громче, взяла его за плечо и осторожно потрясла. Он лежал неподвижно. Она снова взяла его за руку: та безжизненно выскользнула, точно мертвая. Мертвая?.. Перехватило дыхание. Нужно увидеть его лицо. Наклонившись вперед, торопливо, со сжимающим сердце омерзением плоти, она ухвати-

ла его за плечи и повернула к себе. Голова запрокинулась назад; лицо казалось маленьким и гладким; он смотрел на нее остановившимися глазами.

Она долго оставалась неподвижной, удерживая его; они смотрели друг на друга. Внезапно она отшатнулась: желание закричать, позвать на помощь, убежать от него едва не овладело ею. Но какая-то властная сила удержала ее. Боже правый! Если узнают, что он умер, их ссадят с поезда на первой же станции...

В пугающей вспышке памяти перед ней предстала сцена, которую она однажды видела в дороге: муж с женой, чей ребенок умер в пути, были высажены на каком-то полустанке. Она словно наяву увидела их стоящими на платформе, а между ними — тело ребенка; она так и не забыла тот ошеломленный взгляд, которым они провожали удаляющийся поезд. И то же самое случится с ней! Через час она может оказаться на платформе чужой станции, одна с телом мужа... Все, что угодно, только не это! Это слишком ужасно... Она задрожала, как загнанный зверь.

Пока она сжималась от ужаса, поезд стал замедлять ход. Приближаются... подъезжают к станции! Она снова увидела тех родителей на пустынном перроне; и резким движением опустила шторку, скрывая лицо мужа.

Голова закурилась, она опустилась на край полки, стараясь не касаться вытянутого тела, и плотно запахла занавески, отгородив себя и его могильным полумраком. Она по-

пыталась собраться с мыслями. Любой ценой нужно скрыть, что он мертв. Но как? Мозг отказывался повиноваться: она не могла ничего придумать, сопоставить. Ничего не шло на ум, кроме как просидеть вот так, сжимая в пальцах ткань занавесок, весь долгий день...

Она услышала, как проводник убирает ее постель; пассажиры начали передвигаться по вагону; дверь уборной то и дело хлопала. Она сделала над собой усилие. Наконец, собрав остаток воли, встала, вышла в проход и плотно задернула занавески за спиной. Заметив, что от качки поезда они слегка расходятся, она нащупала на платье булавку и заколола их. Теперь порядок. Оглянувшись, она встретилась взглядом с проводником. Ей почудилось, что он следит за ней.

— Он еще не проснулся? — спросил тот.

— Нет, — с трудом выговорила она.

— Молоко наготове, как только захочет. Вы велели подать к семи.

Она молча кивнула и скользнула на свое место.

В половине девятого поезд прибыл в Буффало. К этому времени пассажиры оделись, а полки были убраны на день. Проводник, сновавший взад и вперед с охапками простыней и подушек, поглядывал на нее на ходу. Наконец он произнес:

— А он вставать не собирается? Нам ведь велено убирать спальные места как можно раньше.

Она похолодела от страха. Поезд как раз входил на станцию.

— О, еще нет, — пробормотала она. — Только когда выпьет молоко. Принесите его, пожалуйста.

— Ладно. Как только тронемся.

Когда поезд тронулся, проводник вернулся со стаканом молока. Она взяла его и бессмысленно уставилась на белую гладь: мысли ворочались медленно, словно шаги по редким камням посреди бурного потока. Вскоре она заметила, что проводник все еще выжидательно топчется рядом.

— Подать ему? — предложил он.

— О нет, — вскрикнула она, поднимаясь. — Он... он еще спит, кажется...

Она выждала, пока проводник отойдет, вынула булавку и скользнула за занавески. В полумраке лицо мужа смотрело на нее, как мраморная маска с агатовыми глазами. Глаза были ужасны. Она протянула руку и опустила веки. Тут она вспомнила про стакан молока в другой руке: куда его деть? Мелькнула мысль приподнять окно и выплеснуть наружу; но для этого пришлось бы перегнуться через тело и приблизить лицо к его лицу. Она решила выпить молоко сама.

Она вернулась на место с пустым стаканом, и через некоторое время проводник пришел забрать его.

— Когда же сложить постель? — спросил он.

— О, не сейчас... еще нет. Он болен, очень болен. Нельзя ли оставить все как есть? Доктор велел ему лежать как можно дольше.

Тот почесал в затылке:

— Ну, если он *вправду* так болен...

Он взял пустой стакан и пошел по проходу, объясняя пассажирам, что человек за шторами слишком плох, чтобы вставать.

Она оказалась в центре сочувствующих взглядов. Полная добродушная женщина с участливой улыбкой под села к ней:

— Как жаль, что вашему мужу нездоровится. В моей семье столько болели, может, я чем помогу? Можно мне взглянуть на него?

— О нет... нет, пожалуйста! Его нельзя тревожить.

Дама снисходительно приняла отказ:

— Ну, вам виднее, конечно, только по мне, у вас самой маловато опыта с больными, а я была бы рада подсобить. Что вы обычно делаете в таких случаях?

— Я... я даю ему поспать.

— Слишком много спать тоже не на пользу. А лекарства вы ему не даете?

— Д-да...

— Не будите, чтобы принять?

— Бужу.

— А когда следующий прием?

— Через... через два часа...

Дама разочарованно протянула:

— Ну, на вашем месте я бы давала почаще. Я своим всегда чаще даю.

После этого на нее словно надвинулась целая толпа лиц.

Пассажиры шли в вагон-ресторан и, проходя по проходу, с любопытством поглядывали на закрытые занавески. Один субъект с лошадиной челюстью и глазами навывкате остановился, пытаясь заглянуть в щель между полотнищами. Веснушчатая девочка, возвращаясь с завтрака, хватала прохожих липкими ручонками и громким шепотом сообщала: «Он болен!»; раз прошел кондуктор, проверяя билеты. Она забилась в угол и смотрела в окно на мелькающие деревья и дома — бессмысленные иероглифы бесконечно разворачивающегося папируса.

Порой поезд останавливался, и вновь прибывшие пассажиры тоже пялились на задернутые шторы. Людей становилось все больше — их лица начали фантастически смешиваться с образами, бушевавшими в ее мозгу...

Позже из тумана лиц вынырнул толстяк. У него было складчатое брюхо и мягкие бледные губы. Втискиваясь на сиденье напротив, он явил взору черный суконный костюм и засаленный белый галстук.

— Мужу нынче совсем нехорошо, а?

— Да.

— Ай-яй-яй! До чего же прискорбно, а? — Апостольская улыбка обнажила золотые пломбы. — Хотя вы, конечно, знаете, что никакой болезни на самом деле не существует. Правда, какая прекрасная мысль? Сама смерть — лишь иллюзия наших грубых чувств. Стоит лишь открыться притоку духа, пассивно предаться действию божественной силы, и недуг с

тлением перестанут для вас существовать. Если бы вы смогли убедить супруга прочесть эту брошюрку...

Лица вокруг снова расплылись. Смутно помнилось, как сердобольная дама и мать веснушчатой девочки горячо спорили о том, что лучше — принимать несколько лекарств сразу или чередовать их: добродушная дама утверждала, что одновременный прием экономит время, а вторая возражала, что тогда не поймешь, какое средство помогло; их голоса тянулись и тянулись, точно звон колоколов на бугах в тумане... Проводник подходил с какими-то вопросами, которых она не понимала, но на которые, должно быть, отвечала, раз он уходил, не переспрашивая; каждые два часа сердобольная соседка напоминала, что мужу пора принять капли; пассажиры выходили, их сменяли другие...

Голова кружилась, и она пыталась удержать равновесие, хватаясь за проносящиеся мысли, но те выскальзывали из рук, как кусты на краю отвесного обрыва, в который она словно падала. Вдруг рассудок вновь прояснился, и она живо представила, что произойдет, когда поезд прибудет в Нью-Йорк. Ее бросило в дрожь от мысли, что он будет совсем холодным и кто-нибудь догадается, что смерть наступила еще утром.

Она лихорадочно думала: «Если они увидят, что я не удивлена, они заподозрят неладное. Начнут расспрашивать, а скажу правду — никто не поверит, никто на свете! Будет ужасно...» — и твердила про себя: «Надо притвориться, буд-

то я ничего не знаю. Притвориться, будто я не знаю. Когда они откроют занавески, я подойду к нему как ни в чем не бывало — и закричу». Ей казалось, что закричать как надо будет труднее всего.

Постепенно новые мысли, яркие и неотвязные, полезли со всех сторон: она пыталась отделить их друг от друга и обуздать, но они галдели и напирали, точно ее ученики в душном классе к концу жаркого дня, когда у нее уже не оставалось сил их утихомирить. В голове мутилось; закрался тошнотворный страх забыть свою роль, выдать себя неосторожным словом или взглядом.

— Надо притвориться, будто я не знаю, — продолжала она шептать. Слова потеряли всякий смысл, но она повторяла их машинально, точно магическое заклинание, пока вдруг не услышала собственный громкий голос:

— Я не помню! Я не помню!

Голос прозвучал пугающе громко, и она в ужасе огляделась по сторонам; но никто, казалось, не обратил внимания на ее выкрик.

Бросив взгляд вдоль вагона, она зацепилась глазами за занавески полки мужа и принялась разглядывать однообразные арабески, вытканые на тяжелых складках. Узор был сложным и путаным; она неотрывно смотрела на ткань, и от ее взгляда плотная материя стала прозрачной, и сквозь нее проступило лицо мужа — его мертвое лицо. Она попыталась отвести взгляд, но глаза не слушались, а голова словно бы-

ла зажата в тисках. Наконец с усилием, оставившим ее слабой и дрожащей, она отвернулась; но все напрасно: прямо перед ней, маленькое и гладкое, висело лицо ее мужа. Казалось, оно повисло в воздухе между ней и фальшивыми косами сидевшей впереди женщины. Безотчетным жестом она протянула руку, чтобы оттолкнуть лицо, и вдруг почувствовала прикосновение гладкой кожи. Подавив крик, она встала с места. Женщина с накладными косами обернулась, и, чувствуя необходимость хоть как-то оправдать свое движение, она поднялась и сняла дорожную сумку с противоположного сиденья. Открыла ее и заглянула внутрь; но первой вещью, на которую наткнулась рука, оказалась маленькая фляжка мужа, сунутая туда в последнюю минуту в спешке отъезда. Она заперла сумку и закрыла глаза... лицо снова было тут, повиснув между веками и зрачками, точно восковая маска на фоне красного занавеса...

Она очнулась с дрожью. Упала в обморок или уснула? Казалось, прошли долгие часы, но за окном стоял все тот же белый день, и люди вокруг сидели в прежних позах.

Внезапный приступ голода подсказал ей, что с самого утра во рту не было ни крошки. Мысль о еде вызывала отвращение, но, боясь нового приступа дурноты и вспомнив о печенье в сумке, она достала одно и съела. Сухие крошки застревали в горле, и она торопливо отпила глоток коньяка из фляжки мужа. Жжение в горле подействовало как отвлекающее средство, ненадолго притупив ноющую боль в нер-

вах. Затем разлилось мягкое тепло, точно ее обдало легким ветерком, и роящиеся страхи ослабили хватку, отступая в окружившую ее тишину — тишину, умиротворяющую, как просторный покой летнего дня. Она уснула.

Сквозь сон она ощущала стремительный бег поезда. Казалось, сама жизнь несет ее вперед с неумолимой, сокрушительной силой — несет во тьму, в ужас, в трепет неведомых дней... И вдруг все затихло — ни звука, ни движения... Она сама была мертва и лежала рядом с ним с гладким лицом, уставившимся в потолок. Какая стояла тишина! И все же она слышала шаги приближающихся мужчин, которые должны были унести их... Она чувствовала — ощутила внезапную долгую дрожь, череду резких ударов, а затем еще одно погружение во тьму: на сей раз тьму смерти — черный смерч, в котором они оба кружились, точно листья, по диким раскручивающимся спиралям вместе с миллионами и миллионами мертвецов...

Она в ужасе вскочила. Сон, должно быть, длился долго: зимний день угас, в вагоне зажгли свет. Кругом царила суматоха, и, приходя в себя, она увидела, что пассажиры разбирают пальто и сумки. Женщина с накладными косами несла из уборной чахлый плющ в бутылке, а последователь «Христианской науки» выворачивал манжеты чистой стороной. Проводник шел по проходу со своей беспристрастной щеткой. Служитель в фуражке с золотым околышем попросил билет

мужа. Голос выкрикнул: «Доставка багажа!», и послышался металлический звон жетонов, сдаваемых пассажирами.

Вскоре за окном выросла закопченная стена, и поезд нырнул в тоннель Гарлема. Поездка окончена; через несколько минут она увидит своих родных, пробивающихся сквозь радостную толпу на перроне. На сердце у нее отлегло. Худший ужас остался позади...

— Пора бы его будить, а? — спросил проводник, коснувшись ее плеча.

Он держал в руке шляпу ее мужа и задумчиво оглаживал ее щеткой.

Она взглянула на шляпу и попыталась что-то сказать; но внезапно в вагоне потемнело. Вскинув руки и пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, она упала ничком, ударившись головой о полку покойника.

Пеликан

Когда я впервые познакомился с ней, она была очень хороша собой: с милым прямым носиком и короткой верхней губой богини с камеи, оживленной ямочкой на щеке, расцветавшей всякий раз, когда произносилось нечто, обладавшее внешними признаками юмора, но лишенное его сути. Провидение милостиво обделило милую даму чувством юмора: малейший намек на подлинную шутку омрачал ее прекрасный взор, словно нависшая тень алгебраической задачи.

Вряд ли природа предназначала ее для «интеллектуально-го» поприща; но что оставалось делать бедняжке, чей муж умер от пьянства, когда ребенку едва исполнилось шесть месяцев, и чьих коралловых бус вместе с дедушкиным изданием «Британских драматургов» оказалось явно недостаточно для удовлетворения кредиторов?

Ее мать, знаменитая Айрин Астарта Пратт, написала поэму белым стихом «Грехопадение человека»; одна из тетушек была деканом женского колледжа; другая перевела Еврипида — при таком семействе участь бедняжки была решена заранее. Единственный способ расплатиться с долгами мужа и одеть малютку заключался в том, чтобы сделаться интеллектуалкой; и после некоторых колебаний относительно формы ее умственной деятельности было единодушно решено, что она станет читать лекции.

Началось все с салонных лекций. В первый раз я увидел ее у рояля, на легкомысленном фоне дрезденского фарфора и фотографий: она рассказывала гостиной, полной дам, озабоченных своими весенними шляпками, все, что, по ее мнению, знала о греческом искусстве. Собравшиеся дамы дали мне понять, что она «делает это ради крошки», и это обстоятельство в сочетании с короткой верхней губой и чарующим содействием ямочки на щеке настроило меня весьма снисходительно выслушать ее рассуждения. К счастью, в ту пору греческое искусство было еще, с позволения сказать, вполне доступным: с ним было так же просто управляться, как прогуливаться по музейной галерее мимо знакомых и милых Венер и Аполлонов. Все позднейшие сложности — архаические и архаизирующие загадки, влияния Ассирии и Малой Азии, споры об авторстве и баталии эрудитов — еще мирно дремали в недрах будущего «научного искусствоведения». В те дни греческое искусство начиналось с Фидия и заканчивалось Аполлоном Бельведерским, и ребенок мог пройти от одного к другому без малейшего риска заблудиться.

Миссис Эмиот обладала двумя роковыми дарованиями: вместительной, но неточной памятью и необычайной беглостью речи. Не существовало вещи, которой она бы не помнила — и непременно превратно; но ее хромающие факты кутались в такое количество слоев риторики, что их увечья оставались незаметными для доброжелательных слушателей. К тому же греческому ее учила та самая тетушка, что перевела

Еврипида, и само звучание окончаний «-айс» и «-ойс», которые она время от времени не без ловкости роняла (тут же, разумеется, со смущением поправляясь и снисходительно искажая перевод фразы), внушало священный трепет сердцам дам, чьи познания ограничивались лишь французским — да и то если собеседник говорил не слишком быстро.

Тогда я видел миссис Эмиот лишь мельком, но несколько месяцев спустя вновь наткнулся на нее в университетском городке Новой Англии, где знаменитая Айрин Астарта Пратт восседала на вершине местного Парнаса, а меньшие музы и университетские профессора благоговейно жались у подножия священного утеса. Миссис Эмиот, вернувшаяся после смерти мужа под материнский кров (кров этот, впрочем, оставался сугубо материнским еще при жизни отца), благодаря верхней губе, ямочке и знанию греческого уже уютно устроилась в укромной ложбинке парнасского склона.

После лекции мне довелось проводить миссис Эмиот домой. Судя по негодующим взглядам двух или трех ученых джентльменов, толпившихся на крыльце, в ту пору миссис Эмиот нечасто ходила домой в одиночестве; однако сомневаюсь, чтобы хоть один из моих посрамленных соперников, каковы бы ни были его притязания, удостоился столь упоительной смеси робости и самозабвения, фальшивой эрудиции и подлинных зубов и волос, какой посчастливилось насладиться мне. Уже на заре своего публичного поприща миссис Эмиот с нежностью взирала на чужаков как на возмож-

ное связующее звено со следующими очагами культуры, куда со временем можно будет передать факел греческого искусства.

Она начала с признания, что никогда в жизни так не пугалась. Она знала, разумеется, сколь ужасающе я учен, и когда перед самым началом хозяйка шепнула ей, что я в зале, она готова была провалиться сквозь землю. Но потом (ямочка на щеке ожила) она вспомнила строчку Эмерсона — кажется, Эмерсона? — о том, что красота сама по себе служит оправданием для того, чтобы ее *видеть*, и это придало ей чуточку уверенности, ведь она убеждена: никто не *видит* красоту столь живо, как она (в детстве она часами любовалась этрусской вазой на книжном шкафу в библиотеке, пока сестры играли в куклы); а если умение *видеть* красоту — единственное оправдание, нужное для того, чтобы о ней говорить, то она уверена: я сделаю скидку и не стану судить *слишком* строго и саркастично, особенно если я, как она полагает, наслышан о потере ее бедного мужа и о том, что она вынуждена делать это ради ребенка.

Получив щедрые заверения в моем сочувствии, она продолжала: ей всегда так хотелось посоветоваться со мной насчет лекций. Конечно, одной темы мало (такой взгляд на ограниченность греческого искусства как «темы» дал мне поразительное представление о скорости, с какой удачливый лектор способен исчерпать вселенную); нужно найти другие. Пока она ни на что не решалась, но подумывала о Теннисоне

— разве я не *обожаю* Теннисона? Она просто *боготворит* его и уверена, что смогла бы помочь другим понять его; или что я думаю о «курсе» по Рафаэлю или Микеланджело — либо о героинях Шекспира? В библиотеке ее матушки есть прекрасные гравюры с мадонн Рафаэля и росписей Сикстинской капеллы, а мисс Кушман она видела в нескольких шекспировских ролях, так что и в этих предметах чувствует себя вправе судить со знанием дела.

Подойдя к дверям дома матери, она умоляла меня войти и все обсудить; ей так хотелось показать мне ребенка — она чувствовала, что, увидев его, я пойму ее лучше, — и сквозь блеснувшую слезинку сверкнула ямочка.

Страх столкнуться с автором «Грехопадения человека» вкупе со своевременным воспоминанием об обеде заставил меня уклониться от призыва, пообещав вернуться назавтра. Наутро я уехал слишком рано, чтобы исполнить обещание; и несколько лет ничего не слышал о миссис Эмиот.

Мои занятия в ту пору требовали нерегулярных переездов из одного крупного города в другой, а поскольку миссис Эмиот также вела кочевой образ жизни, наша новая встреча была неизбежна. Поэтому я ничуть не удивился, когда однажды снежным бостонским днем дама, у которой я завтракал, объявила, что сразу после трапезы мы отправимся слушать лекцию миссис Эмиот.

— О греческом искусстве? — предположил я.

— О, вы уже слышали ее? Нет, это из цикла «Обитатели

и приюты поэтов». На прошлой неделе были Вордсворт и «озерная школа», сегодня — Гете и Веймар. Она удивительное создание: в их роду все женщины — гении. Вы знаете, конечно, что ее матерью была Айрин Астарта Пратт, автор поэмы «Грехопадение человека»? Н. П. Уиллис называл ее «американским Мильтоном в юбке». А одна из тетюшек миссис Эмиот перевела Еврипи...

— А она все так же хороша собой? — не утерпел я.

Хозяйка посмотрела на меня с укоризной:

— Она необычайно скромна и застенчива. Говорит, что публичные выступления для нее — сущее мучение. Вы ведь знаете, она делает это только ради ребенка.

В назначенный час мы заняли места в лекционном зале, битком набитом решительными дамами в просторных пальто-ульстерах. Миссис Эмиот явно пользовалась успехом у этих суровых сестер: все углы были заняты, и при нашем входе бледный билетер с манерным выговором втолковывал паре унылых просителей, что свободных мест нет и не предвидится.

Наши кресла, к счастью, находились так близко к сцене, что, когда занавески в глубине помоста раздвинулись и появилась миссис Эмиот, я сразу смог сопоставить даму, безмятежно играющую ямочками под аплодисменты публики, с той робкой салонной ораторшей из моих прежних воспоминаний.

Миссис Эмиот была столь же прелестна, как и прежде, и

между свежестью ее облика и затасканностью темы сохранялся все тот же забавный контраст; но что-то исчезло от прежней вспыхивающей неуверенности, с которой она когда-то наугад выпаливала свои первые суждения о греческом искусстве. Не то чтобы выстрелы стали точнее, но теперь она держалась с таким видом, будто мишень для ее целей находится решительно везде, а значит, незачем и волноваться при прицеливании. Эта уверенность так облегчила поток ее красноречия, что она словно проделывала фокус, подобный трюку иллюзиониста, вытягивающего изо рта сотни ярдов белой бумажной ленты. Из обширного запаса расхожих определений она с безошибочной ловкостью и быстротой выбирала именно то, которое вкус и разборчивость непременно отвергли бы, одевая предмет своего рассказа в целый гардероб готовых базарных эпитетов, нелепых и по покрою, и по размеру. К бесценному умению не тревожить привычный ход мыслей у слушателей она добавляла дар доверительного тона — так что ее гладкие обобщения о Гете и его месте в литературе (лекция была, разумеется, скроена по книге Льюиса) отдавали личным опытом, задушевной беседой о лучшем способе вязания детских чулок или заготовки варенья на зиму. Именно этой доверительной интонации — моральному эквиваленту ее ямочки — миссис Эмиот и была обязана своим поразительным, необъяснимым успехом. Ее искусство превращать чужие мысли в собственные искренние чувства покоряло женскую аудиторию.

Человеку, не охотящемуся за житейскими курьезами, успех миссис Эмиот вряд ли показался бы интересным, и мое любопытство угасло вместе с растущей уверенностью в том, что «муки», якобы доставляемые ей выступлениями, были не более чем ретроспективной фантазией. Я не сомневался, что она уже научилась рассчитывать и смаковать свои эффекты, сознательно манипулируя публикой; и в достижении столь внушительных результатов столь малыми осознанными усилиями действительно должно было крыться немалое упоение. Искусство миссис Эмиот было просто продолжением женского кокетства: она флиртовала со своим залом.

В этом настроении просвещенного скептицизма я весьма вяло отозвался на предложение хозяйки поехать с ней вечером в гости к миссис Эмиот. Тетушка, переводившая Еврипида, принимала по субботам, и там, как пояснила моя знакомая, собирались «глубокомысленные» люди: это был один из интеллектуальных центров Бостона. Я решительно противился любой мысли о связи между миссис Эмиот и интеллектуальностью и отказался; но на следующий день встретил ее на улице.

Она остановила меня с упреком. Она слышала, что я в Бостоне; почему же я не пришел вчера вечером? Ей передали, что я был на ее лекции, и это ее так напугало — право же, почти так же сильно, как много лет назад в Хиллбридже! Она никак не может побороть эту дурацкую застенчивость, и все это занятие ей по-прежнему противно; но что поделаешь?

Ведь есть ребенок — правда, мальчик уже совсем большой, а мальчишки обходятся *так* дорого! Но неужели я нахожу, что она хоть капельку продвинулась вперед? И почему бы мне не пойти к ней прямо сейчас, не повидать мальчика и не сказать откровенно, что я подумал о лекции? Лести ей хватает — люди *так* добры, и все знают, что она делает это ради ребенка, — но в чем она действительно нуждается, так это в критике: строгой, пронизательной критике вроде моей... О, она прекрасно знает, как я ужасающе пронизателен!

Я пошел к ней и увидел мальчика. В раннем порыве своего поклонения Теннисону миссис Эмиот нарекла его Ланселотом, и вид он имел соответствующий. Впрочем, возможно, именно его черный бархатный костюмчик и раздражающая длина желтых кудрей в сочетании с тем, что его заставляли декламировать гостям Браунинга, довели до белого каления мое желание отлупить это подобие отрока Самуила. Впоследствии у меня появились основания полагать, что сам он предпочел бы зваться Билли и гонять кошек с другими мальчишками на улице: кудри и поэзия служили лишь еще одной отдушиной для неумного кокетства миссис Эмиот.

Но если сам Ланселот был фальшивкой, то материнская любовь к нему была подлинной. Она оправдывала все: лекции и впрямь читались *ради ребенка*. Не прошло и десяти минут, как я уже дал слово помочь миссис Эмиот в ее триумфальном обмане. Если ей угодно читать о Платоне — пусть читает; Платону придется попытать счастья, как и всем нам!

Быть «проницательным», конечно, не имело смысла. Я сохранил достаточно благоразумия, чтобы избежать этой ловушки, но стал подсказывать ей темы и составлять списки книг с глупостью, становившейся тем очевиднее, чем больше стиралось из памяти воспоминание о ее улыбке; я даже поймал себя на мысли, что иной мужчина разрубил бы этот узел, женившись на ней, однако я оставил Платона в заложниках и бежал дневным поездом.

В следующий раз я встретил ее в Нью-Йорке, когда она вошла в такую моду, что присутствие на ее лекциях сделалось частью непреложного женского долга. Дама, заметившая, что мне, разумеется, непременно стоит послушать миссис Эмиот, не знала толком ничего, кроме того, что лекторша совершенно прелестна, что у нее был ужасный муж и что она читает лекции, чтобы вырастить сына. Тема выступления (кажется, о Рескине) явно имела второстепенное значение не только для моей знакомой, но и для всей толпы нарядных и рассеянных дам, которые с шуршанием входили с опозданием, роняли муфты и сумочки и без стеснения погружались в изучение нарядов друг друга. Они встречали миссис Эмиот с теплом, но ее лекция представляла собой скорее светскую обязанность вроде посещения церкви, нежели живой интерес; по сути, подозреваю, любая из присутствующих дам с радостью осталась бы дома, будь она уверена, что никто другой не придет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.